

ЛИТЕРАТУРА КАК СПОСОБ ОБЩЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

*Сергей Котьяло
г. Москва, Россия*

МАННА НЕБЕСНАЯ

Машина привезла их в обитель святой великомученицы Екатерины поздней ночью. Юный монастырский послушник развел гостей по келиям для отдыха. Зной, который паломники проехали от пристани меж красных скалистых гор, мгновенно сменился черною прохладой. Крупные, с яблоко, червленые зори частили, дымились над крышею гостиного двора. И было тихо, совсем тихо.

Илюшу уложили в мягкую, на удивление для столь строгой уставом обители, пушистую постель. Он, едва коснулся подушки, сразу уснул крепким сном. Но скоро его подняли, запихнули в теплую шерстяную куртку и потащили за верблюдом по камням на гору.

Понятно, встать-то он встал, однако проснулся только к середине подъема и немало подивился многолюдью тянувшейся снизу вверх вереницы, пересыпанной верблюжатами и верблюдами, навьюченных всадниками старыми и малыми. И это было мальчишке любо.

Впрочем, Илюша так же был люб сподвижникам. То связано не с его прямо таки ангельскою красотой: льняные, длинные кудри, рассыпанные по спине, кругленькое белое личико, синие-синие, как днепровские сливы очи..., – а врожденною кротостию, с какою он поднимался в гору, ни разу не молвив ни слова, и ни разу не аукнув на чей-то голос. Постоянная ровность и целеустремленность этого природного чуда понуждала даже взрослых, выдавших виды, знавших не одну вершину мира, собраться и вести себя достойно детскому смирению.

Только один старый геолог, будучи человеком недюжинного телосложения, вдруг, после какой-то весьма неуклюжей фразы на счет верблюжьей породы, распластался всею массою, этакая гора-человек на гладкой гранитной площадке. Но Илюша и тогда не шевельнулся никак, шаг за шагом возносясь над куполом собора монастыря.

В нужный час поводырь, подросток-бедуин, весело и игриво вывел партию паломников на вершину горы, на то самое место, где великому пророку Моисею Господь сообщил тайну спасения. Илюша подошел к краю отвесной

скалы, вскинул широко растопыренные, будто крылья, руки горе и как бы телом потянулся за ними. Многие соглядатаи вскрикнули от страха. Мальчик даже ухом не повел, потому как на него и на всех стало наплывать единственное в таком виде солнце, достигаемое и осязаемое, что ни пером описать, ни в сказке сказать. Народ плакал, пел псалмы на разных языках, китайцы долбили головами камни, арабы били в бубны... – радости, казалось, несть конца.

Так вот, и тогда Илюша восторгался ровно и тихо. Лишь глазёнки его часто мигали и сияли в ответ ширине солнца, что выростала до размера вселенной.

Рассвет на Синае длился не долго. В течение часа природу сменило одинаковое утро и паломники пошли долу, оставив позади на вершине горы Хорив крохотную церквушку. Илюша бессознательно плелся за поводырем. Конечно, мальчику, верно, было жаль так быстро расстаться с тем, к чему многие люди за всю жизнь не доходят, чтобы, хоть краем души, дотронуться святых стоп пророка Моисея. И все же он шел, повторяя и ровное дыхание, и молчание, и радость. Он спускался по старой дороге, которую вымостили собственноручно монахи древних времен. Ступени для него частенько превышали возможность шага, и тогда мальчик сползал по ним, не редко ударяя или царапая ноги и руки. Меж тем, усложненность спуска, масштабность валунов нисколько не уменьшили кротости и смирения в выражении лица и глаз Илюши. В них читалась напряженная затаенность ожидания некоего чуда. Вот-вот, казалось, и с ним произойдет большее, чем весь Синай.

Так длилось от ворот до ворот, – их по спуску достаточно, – пока не достиг мальчик середины пути. Юноша-бедуин положил на стоянке, вблизи каливы святого пророка Илии, перед пещерою пророка Елисея рябого верблюда, тыча оливковым хлыстом вниз, к Поклонному Кресту, где должен соединиться с паломниками Илюша, как на них, по какому-то странному обстоятельству отставшим от группы, просыпала белая меленькая крупа, прямо-таки роса и возглас:

– Здравствуй, Илюша.

– Здравствуй Илья, – вскрикнул мальчик, – испугался, – рухнул лицом на камень и зарыдал, повторяя: здравствуй Илья..., здравствуй..., – а после и вовсе запел: Хвалите Господа с небес... – и уже, когда мальчика несли попутчики на руках вниз, в среде их кто-то вспомнил, что до сего часа от рождения он не молвил ни звука, и далее, до самой Неопалимой Купины они хором воспевали за арфой Давида Господеви Алилюю.

ПОСЛУШАНИЕ

– ...будешь бит...

– Буду, и крепко буду...

Так в промедление ночи солнце приблизилось к востоку и стало просвечивать небо, отчего горы светлели и постепенно вытягивались из черной необъятной стены в рыжеватого крептина острые пирамиды. Скучившийся народ притаился, притих, и даже дышал промедлительно и не часто, как бы боясь вспугнуть чаемую надежду...

– Должно быть, хотя, впрочем, едва ли... – сказал кто-то бессвязно.

– Неужели и ты полагаешь, что Моисей? – спрашивали иные.

– Я не полагаю, – отвечал другой спешно, – я верую...

– Родина – не сон, – говорил, пялясь в тень будущего солнца бабушке старичок.

– Это верно, как и то, что прямо... – соглашалась она.

– И криво, – весело улыбнулся на уже вспыхнувший белый восход разбитым в кровь лицом иннок в потрепанном подряснике. – Много били, а могли и не бить, но такова природа естественного отбора. Хорошо били. Надо поставить за них свечку. Какой урок преподнесли, жаль только, что поздно, но и в детстве было еще не время...

– Странная штука – время: никакого постоянства. Сначала только началась жизнь, а уже пора собираться... Ведь только-только развиднелось и скоро-скоро стало ясно, как вот тебе и запоздалось во времени. После и сказать бы, вскрикнуть над горами, но это уже совершенно не кстати...

– Пойдем, философ, – прервал размышления клоуна Гоши, – отмывать свои рожи от крови и грязи. Хвала Богу Нашему и благодарение за молитвы святому пророку Моисею, что повидались на месте скрижалей, брат.

Так они спускались тропею одинокого монаха, обходя поток согляда-таев с горы Хорив, где год назад прозрел слепорожденный по молитвам Ильи пророка, которого крошка-малыш никогда не видел.

– Неплохо сходили, – говорил клоун, – какую-никакую, а все ж память привезем: разбитые морды.

– Так, похоже на нас, без малого, триста лет тому назад, возвращался в Александрию из Святой Земли, практически наш сверстник Василий из Бар. Тогда его крепко отмутузили палестинцы, потому как слишком добрым и доверчивым было его лицо, а излишний трепет перед святостью земли, по которой ходил Сам Господь, смутили арабов, полагавших, что дрожит Вася за серебряные гроши, спрятанные в тряпках на дне его мешка. Ободрали его как

липку до нага, а он, знай, только одно талдычил: «Господи, помилуй... Господи помилуй...», – чего арабы не понимали с его языка и потому били крепко, так крепко, что после тело покрылось коркой засохшей крови, и только выбранные места казались неодетыми. Василий всю ночь пролежал на камне пустыни без памяти, а молодые умельцы из Иерихона прослезились, когда в холщевой свитке не обнаружили, кроме двух-трех черных сухарей, под-рясника ветхого и псалтыри, ничего путного, по их разумению. А нас с тобой даже не ограбили и не раздели, и побили не арабы, а наши славянские шалопаи, да и поделом побили. За то, что мы вместо псалмов и молитв ко Пророку о его заступничестве, стали научать их не пить пива на восход солнца. Смешно и глупо. Разве мало стоило Мухаммеду застыть перед крестом Господним, застыв на входе во святую обитель великой мученицы красавицы не-весты Христовой Екатерины, заставив замолчать буйное войско, громившее на своем пути доселе от самой Босры вся и всех христиан, соборы и маленькие часовни, города и веси... Дрогнувший сердцем Мухаммед пал перед си-яющим белым серебром выцветшим духоносным старцем Иеремией и в рыдании возопил: «Отче святой, помолись о моем спасении, не могу более, душа моя и очи захлебываются в кровавом море слез матерей и младенцев, забитых как агнцы моей гордынею...»

Старец погладил ласково его голову и сказал:

– Встань, ибо и я грешник. Только Господь ведает, кто из нас дальше от греха. Остановись, и тебе время пришло.

Мухаммед поднялся, вытянулся перед войском:

– Всё! – крикнул на небо и после долго глядел на застывший многотысячный строй. – Я дарую святой обители свободу на все времена и тысячу моих александрийских рабов-бедуинов, пустынных верблюдов, два стада мулов, чтобы во все века оне трудились и здесь во славу Всевышнего до скончания веков, в чем свидетельствую грамоту на нитрийском золотом пергаменте... – однако после этих слов, он как-то весь охарахорился, но скоро, увидев кроткий младенческий взгляд старца и обильный поток горьких слез на его иссохшем сером от времени лице, растерялся, заерзал...

– Странно, Мухаммед, все это слышать от тебя, – сказал ему тихий старец. – Трудно, верно, по слову Господа, верблюду пройти сквозь игольное ушко. Ты, ведь знаешь, что и я знаю: смерть она всегда рядом, но жизнь вечную наследуют не все. Зачем же ты лукавишь, брат, когда знаешь?

Мухаммед держал паузу. Войско насторожилось. Уж слишком странно вел себя Иеремия перед их всемогущим предводителем, но какая-то доселе невиданная сила понуждала перед простотой и тихостью одинокого пустыни-

ника сгибаться. Все в ту минуту застыло. Даже пчелы и птицы замерли в полете. Сколько продолжалась та минута никто не ведает. Известно лишь, что Мухаммед первым отступил на шаг назад от Иеремии и сказал:

– Все, – отчаянно кротко, – большего я понести не могу.

– Да, – согласился старец, – не велика твоя сила. Напрасно ты прошел столько пути, изнуряя войско, ибо никто не может и не должен переть против рожна, по слову Господа Павлу. Ступай с Богом.

Мухаммед еще на шаг отступил. Поезд без команды разделился на две колонны. Одну составляли бедуины и их семьи. Вторую – сильное войско. Последние ушли навсегда, оставив грамоту и бедуинов, который и теперь служат монастырю.

– К чему все это? – спросил инок клоун Гоша.

Георгий промолчал.

Внизу, у главных ворот обители, вблизи костницы братья отмыли грязь и кровь холодной водой. Никакого расстройства в их чувствах не было. Скорее даже их глаза сияли не земною радостью, но это видели лишь соглядатаи, кого оне неспешно минули, не завернув в саму обитель. Гоша так еще и юродствовал, подхихикивал. Им навстречу прошли четыре юных красивых смуглых всадника на молодых крепких верблюдах, весело и шумно приветствуя свысока инок. Тот лишь в ответ поклонился низко, чем едва шевельнул удивление в головах наездников. За спинами уже пылали Синайские горы, а впереди, по правую руку волнами стлался по пустыне белый, как снег песок. Над ней довольно низко шел на парусах Ларион. Георгий узнал почтового, приободрился. До скалы золотого подтелка оставалось несколько шагов. Ларион первым достиг края, сел и сторожко уставился на инок, ожидая сигнального свиста. Георгий умело заложил пальцы в рот и трижды просвистел гимн коноарха. Почтовый весело ударил крылами по бокам и тотчас опустил на плечо инок.

Клоун изумился столь неожиданному повороту действия и тоже попытался перефразировать гимн коноарха, но Ларион никак на него не отреагировал и, даже напротив, скатился калачом прямо на ладонь Георгию.

– Ларион, – инок, покачав голубя на руке, представив гостя.

– Клоун Гоша, – игриво протянул в ответ руку птице.

– Не блажи Егор, – строго сказал брату. – Это почтовый от Вани. У него особая миссия.

– Ур-ур-ур-ру-ру-ру..., – прогудел почтовый, что иными человеческими словами значило: «Царице моя Всеблагая, Надеждо моя, Богородице!...» – и далее уже о другом: Ур-уру-ру-ру, – то есть: «Твой день и твоя правда»...

– Я знаю, – согласно кивнул Георгий, – сегодня моя правда и за то хвала нашему Господу.

Голубь нежно тюкнул клювом большую и крепкую ладонь инока и отлетел.

Егор пытался было увидеть, куда и как полетел почтовый, но тот исчез в мгновение ока так, будто его и не было. Обстоятельство столь неожиданно-го появления и исчезновения Лариона весьма подивило клоуна. Он пытался найти тому свое объяснение, однако разобраться быстро не смог. Любопытство раздирало его. Он взглянул на Георгия, чтобы спросить, как увидел перед собою вместо лица сияние солнца... Понятно, каков ужас объял Егора. Он даже зашатался и, хватаясь за жар пустынного зноя, едва устоял на ногах...

– Что все это значит? – вскрикнул в сторону инока.

– Помнишь, брат, – с обыкновенной ровностью голоса говорил ему Георгий, – когда я уезжал на Синай, на вопрос: зачем меня туда послали? – ответил: «Умирать», – все закричали, чтобы я не говорил глупостей, и лишь старый причетник Евсей сказал: «Будешь бит...» – «Буду, и крепко буду», – отрапортовал ему вслед.

– Ну и что?

– Ничего, Гоша. Прости за все. Голубь прилетел и я умираю.

Сказал последнее: «Господи, прости», – кланяясь, опустился на песок, затем неспешно лег, вытянулся вдоль белой пустынной простыни лицом к небу, перекрестился, сложил крестом на груди огромные трудовые руки и испустил дух.

* * *

... в аэропорт Каира рыдающего клоуна Гошу провожала толпа благодарных зрителей, которая не знала причины его слез и видела в том лишь новую репризу, и только один вышедший на встречу брату инока архиерей из Александрии, благословляя на дорогу, обнял ласково, чуть-чуть приоткрыл Егору совершенно непонятную тайну:

– Не скорби, – вздыхая, – он за послушание умер, чтобы ты жил.

ЗИМНЕЕ УТРО В ТЕЛЬ-КАУКАБЕ

В деревне Тель-Каукаб, куда стекаются все хрустальные воды горных рек, где преизобилуют фруктовые сады, виноградники и оливковые рощи, – это вблизи от Дамаска, если идти по дороге из Рима в столицу Сирии, – Русская Православная церковь построила на холме, на месте озарения Савла, в тепер уже далекие шестидесятые годы прошлого века храм. Справа от него

в 2005 году русский скульптор Александр Рукавишников поставил памятник святому первоверховному апостолу Павлу. Нынешней зимой свершилось прежде небывалое: как гром среди ясного неба – выпал снег...

...Георгий с ужасом смотрел на белого Павла. Еще никогда в жизни он не видел такого чуда. Тело его дрожало мелкой дрожью, слёзы ручьем лились по щекам. Он не понимал, что случилось, но ему было холодно и страшно. Георгий повторял раз за разом:

– Павел... Павел..., – срывался на истерику и рыдал, а после снова говорил: Павел... Павел..., – и истерика накатывалась новым приливом...

Так повторялось достаточно долго. Георгий проваливался в забытие. Очнувшись, он видел, что белые хлопья непрестанно сыплются и белый покров над землей поднимается выше и выше, и уже почти сравнялся с окнами. Белый Павел, по-прежнему молча, строго смотрел прямо ему в лицо. Таким он не видел его еще никогда. Казалось, что еще немного, и Павел в гневе своем шагнет прямо к кибитке и разметает по белому покрову её белые камни.

– Павел... Павел..., – вскрикнул Георгий, – виновен, верь мне, виновен, но не губи сторожку. Хозяин взял меня на работу, и я обещал ему, что буду честно служить, без обмана... Так вышло, видит Бог, я не мог отказать бедному бедуину и пустил его на ночлег в церковь...

Но Павел как бы не слышал. Глаза его широко разверзлись, и он продолжал с беспощадностью смотреть прямо внутрь сердца Георгия, обжигая своею холодною строгостью тело сторожа. Георгий уже не дрожал мелкой дрожью. Сторожа натурально трясло и колотило... Верхние зубы едва попадали на нижние. Пальцы рук скрючились от боли... В эти минуты Георгий чувствовал, что смерть, белая смерть сейчас настигнет его и он умрет, оставив закрытого в церкви бедуина...

– Павел... Павел... – из последних сил взмолился Георгий, – я виновен, но бедуин не повинен. Пусть Господь, по твоим святым молитвам, позволит мне его выпустить из храма...

И вдруг белый Павел как бы вскинул назад голову. Белая пышная грива сползла на плечи. Глаза его засияли в свете пробившегося из-под серых облаков солнца. Какая-то, никогда не знаемая теплота пробежала по сосудам. Из глубины белого сада послышался истошный вопль котенка. Георгий спешно обулся в брезентовые кеды и выбежал во двор.

Собственно, дальше порога он, конечно же, не побежал, а просто провалился в белые покрыва зимы, которых не знал прежде, перед рядами олив, превратившихся в белые стога. Группа сизарей слетела с креста купола церкви и прошла над ним два раза круг за кругом, но он их уже не заметил. Понятно,

что это был второй удар в его сердца. До смерти оставалось меньше шага. Мысленно он смирился со своей участью и уже перемахнул через ступень из мира времени в вечность, а душа Георгия примирилась с приговором Суда...

Но, опять таки, в последнюю секунду, когда он уже лежал, распластавшись на белой холодной и волглой простыне зимы, серая старая кошка с криком выскользнула из-под него. Её дикий визг возмущения смутил тихого Георгия, и он в отчаянье вскочил на ноги...

Все само собою прояснилось: настала зима. Выпал первый снег в пустыне, который раньше Георгий видел только в кино и во сне. Он пошел уверенною походкою по мягкой белой ровной дорожке. По пути вытащил из сугроба истошно визжащего мокрого котенка и спрятал его под свитер. Прежде, чем перекреститься и открыть замок на двери церкви, оглянулся на Павла. Бронзовое доброе лицо апостола светилось счастливою улыбкою. Георгий осенил себя крестом, с некоей растерянностью перемены голосом причетника сказал:

– Алилуя, алилуя, алилуя, – и тоже возрадовался, и пропел далее: – Слава тебе Боже! Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй...

Открыл двери храма и позвал бедуина:

– Скорее выходи, старик, и поспеши домой, к нам зима пришла.

Озябший бедуин, кутаясь в арафатку, морщась от непривычной белизны света, вышел на порог и тоже, надо полагать, оторопел.

– Господи, – вскрикнул постоялец на Павла, – за что нам сие?

– Он не виновен, – ответил весело ему Георгий за бронзового апостола, – всё от Господа, – и повел головою на небо. – Ты поспешай домой, дорогой. Зима к нам пришла незвано. Родные твои, небось, заждались и волнуются... Поторапливайся, пока совсем не утопла в снегах долина...

Поверженный белизною света, бедуин даже не взглянул на своего благодетеля и не сказал ему ни слова. Потупив долу глаза, он минул ворота ограды и растворился в снегах. Радостный незаемно сторож, придерживая левой рукою край грубой шерсти свитера, из-под которого в полудреме счастливо мурлыкал белый котенок, пошел к Павлу. Правой рукой Георгий разгреб снег на приступках постамента, присел на край, погладил рукою холодную бронзовую порфиру апостола, прижался щекою и снова, как на рассвете, запричитал:

– Павел... Павел..., – и заплакал, но теперь уже с благодарным трепетом.

КРАСНОЕ МОРЕ

...тихо денно и ночью. Заходит солнце, всходит луна. Засыпают и просыпаются люди: маленькие и большенькие. Гудят провода и плачут ракиты. Кричат пароходы и свистят поезда. – Но вокруг тишина, что, понятно, тревожит напряжение слуха и кое-кто из ретивых выбивается вперед миллиона людей и отчаянно вопит: «Застой жизни... Затхлость природы... (и все такое пр.)», – и часто машет кулаком революции и жаждет множества мести над повинными в тишости движения матери. Миллион людей легко кидается за ним и делает продолжительную овацию, поет громкие гимны, стучит каблуками по большакам.

Всему миллиону людей хочется враз новой красивой жизни, хотя он еще и не знает противности прежней и, конечно, не способен чувствовать наперед будущность луча.

Крикливый застрельщик входит в раж. Он вопит нескончаемым потоком, отрывиваясь в ряды кровью. Миллион людей верит его труду и не видит в порыве восторга, чья на него брызжит кровь. Миллион людей торжествует много и крепко. Миллион людей революционный держит шаг. Миллион людей рвется вперед, но с каждым шагом своим он оказывается все дальше от передовой, но не видит этого, потому как перед ним непрестанно торчит изрыгающий реки крови оратор-передовик.

Река глубится и ширится. Кое-кто из миллиона народа вязнет в ее берегах и топнет. Река прибывает себе, округляется. Миллион народа перестает быть силою. Крикун кричит-рыгается. Земля миллиона народа превращается в остров. Миллион народа мельчает на тысячи, сотни, десятки, единицы...

Крикун кричит правое светлое дело. Река сливается в море. Никто не помнит миллиона народа.

...над Красным морем тихо денно и ночью.